

*Мартин Малиа*

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН  
И РОЖДЕНИЕ РУССКОГО СОЦИАЛИЗМА.  
1812–1855

## ГЛАВА XVI

РУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ<sup>1</sup>

## Часть 1

Основное самооправдание Герцена, касающееся его жизненного пути и революции, представителем которой он был, заключено в серии эссе и книг, созданных между 1849 г. и Крымской войной. В этих работах он, наконец, в полной мере оформил и развил свою теорию естественного русского социализма, обнаруженного им в крестьянской общине. Правда, Герцен не был автором идеи “социалистической” общины, хотя и разделял ее с момента ее появления. Как мы видели, впервые эта мысль высказывалась славянофилами в начале 1840-х годов: “разбуженные” социалистическими проповедями Герцена и Белинского, они доказывали, что община уже действительно существует в России, что она есть тот идеал, к которому безрезультатно тянется Европа в своих теориях и умонастроениях<sup>2</sup>. Эта идея была взята на вооружение и систематически развита гражданином Пруссии Гакстгаузен<sup>3</sup> в труде, хорошо известном в истории русской общественной мысли: “*Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands*” (“Записки о внутреннем состоянии России, о ее народной жизни и, в особенности, о ее аграрном строе”). Первые две главы появились одновременно на французском и немецком языках в 1847 г., а третья – на тех же языках в 1852 и 1853 гг. Цели теоретических усилий славянофилов и Гакстгаузена, конечно, были консервативными: доказать, что Россия не нуждается ни в социализме, ни в революции, потому что она уже и так обладает теми благами, на достижение которых нацелены социализм и революция. Но интерес к русской общине книга Гакстгаузена возродила и впервые дала пищу для социологических размышлений как левым, так и правым политическим мыслителям. После 1847 г. все – от Белинского до Хомякова, – не исключая, конечно, самого Герцена, прочитали эту книгу, несмотря на то что ее перевод на русский был запрещен<sup>4</sup>.

Гакстгаузен также способствовал распространению этой идеи на Европейском континенте, особенно среди немцев и поляков, в среде как правых, так и левых деятелей. В особенности возможностями “сельского” социализма были впечатлены Гервег и другие немецкие эмигранты, часто посещавшие Герцена. Одновременно и, кажется, независимо ни от русских, ни от немцев, к тем же самым выводам о крестьянской общине пришли, изучая основы славянской истории, различные польские изгнанники, среди которых наиболее был известен Лелевель<sup>5</sup> (он был историком по профессии), – ведь современная им Польша не имела общины. В 1847 г. Бакунин перенял эти идеи от поляков и с 1848 г. стал проводить их в жизнь (что произошло, кстати, до начала герценовской пропаганды), придав им панславистское звучание<sup>6</sup>.

Таким образом, когда за дело взялся Герцен, почва для развития идеи общины уже была хорошо возделана. Прийти к подобной теории было несложно. Принимая во внимание интерес, который проявляли европейские правые политические мыслители к “фольклорным” сюжетам, а европейские левые – к эгалитарным коммунам, рано или поздно этот вопрос должен был проникнуть в Россию; и совершенно ясно, что эту теорию одновременно развивали многие. Поэтому Герцен здесь выступал в роли не автора, а главного вдохновителя и популяризатора этой идеи в наиболее радикальной ее версии. Он развил и распространил целую теорию, чтобы поддержать предположение Бакунина. Но при этом Герцен всё же многое добавил в нее от себя.

Как мы видели, впервые Герцен обнародовал эти свои убеждения в 1847 г.<sup>7</sup> Но для перехода от этого заявления к систематическому развитию идеи нужно было двигаться долго и в высшей степени осторожно. Славянофилы и Гакстгаузен не подходили на роль теоретических предшественников Герцена, который не желал быть скомпрометирован подобным союзом. 5 ноября 1848 г. в одном из своих редких писем в Москву, после обычных жестоких обличений Европы (французский электорат был сравнен с орангутангами), он выразил свои сомнения по поводу общины: “Но, если это так, то, следовательно, сделался славянофилом?” Нет. Из того, что Европа умирает, никак не следует, что славяне не в ребячестве. А ребячество здоровому и совершеннолетнему так же не среда, как и дряхлость. Европа, умирая, завещает миру грядущему, как плод своих усилий, как вершину развития, социализм. Славяне *an sich* имеют во всей дикости социальные элементы. Очень может быть, не встретятся они теперь с Европой социальной, и у них коммунальная жизнь исчезла бы так, как у германских народов. Натура славян в развитых экземплярах богата силами, как неистощенная почва; эти развитые экземпляры – ручательство прекрасных возможностей,

но действительность бедна. Наконец, временная случайность поставила Россию в такое положение, что она невозможнее Европы, – ей надобно переработать и отречься от двух прошедших: от допетровской и послепетровской (которые так же националистичны и ортодоксально религиозны, как навязанные западные “феодалные ценности”. – М.М.)<sup>8</sup>.

На первый взгляд это выглядит не более чем преддверием скептицизма Герцена, выраженного по отношению к общине в 1843 г., в спорах со славянофилами. Но протесты его не слишком похожи на истинный скептицизм. На самом деле, на тот момент он просто отмежевывался от возможных ассоциаций со славянофилами – друзья не раз указывали ему на это. К тому же в ноябре 1848 г. революция была еще не совсем подавлена, так что правильной было сначала дожидаться последней агонии Европы, а уже затем конституировать триумф России.

Во второй половине 1849 г. революция безоговорочно была подавлена, и Герцен теперь все высказал в открытую. Эти откровения имели место в адресованном Гервегу письме-эссе, озаглавленном “La Russie: ‘a G.H.”, впервые опубликованном в ноябре 1849 г. по-французски прудоновским “La Voix du Peuple”. Вскоре оно было переведено на итальянский для “L’Italia del Popolo” (“Народная Италия”) Мадзини и в 1850 г. Гервегом на немецкий; письмо имело мелодраматичную и несколько мрачную подпись “Варвар”<sup>9</sup>. За этим эссе последовало в том же году короткое, но, в сущности, очень похожее “Lettre d’un Russe ‘a Mazzini” (“Послание русского Мадзини”), которое появилось также в выше названных журналах и в “La Voix du Peuple”, а позже по-немецки<sup>10</sup>. В следующие несколько лет Герцен повторно изложил свою точку зрения в четырех других произведениях. В 1851 г. в Париже он опубликовал книгу “Du developpement des idees revolutionnaires en Russie” (“О развитии революционных идей в России”), которая (подобно “Былому и думам”) являлась также историей постепенного пробуждения интеллигенции со времен декабристов и защитой социалистической крестьянской общины. В том же году это произведение вышло на немецком языке в сокращенном варианте<sup>11</sup>. Затем в 1851 г. в написанной по-французски работе “Le peuple russe et le socialisme. Lettre a’ M. Jules Michelet” (“Русский народ и социализм. Письмо Ж. Мишле”)<sup>12</sup> Герцен проявил космополитическую щедрость по отношению к другому влиятельному европейскому демократу; на этот раз работа была вскоре переведена на английский язык<sup>13</sup>. После переселения в Лондон Герцен сначала обратился со своими идеями прямо к русской общественности в “Крещенной собственности”, впервые опубликованной Воль-

ной русской типографией в 1853 г. и в том же году почти дословно пересказанной по-английски<sup>14</sup>. Наконец, в 1854 г. он совершил прямой выпад против английской читающей общественности (которая была слишком озабочена рабством в США) в работе «Старый мир и Россия. Письма редактору “The English Republic”. В. Линтону»; Линтон<sup>15</sup> был одним из тех немногочисленных радикалов, с которыми поддерживал отношения Герцен в Британии<sup>16</sup>. Герцен посеял не одно зерно в европейском демократическом движении, которые так и не вззошли. Но в то время, когда он пытался убедить заграничную публику в своей правоте, он не забывал и о своих русских друзьях. Многие из перечисленных здесь его работ были впоследствии опубликованы Вольной русской типографией на русском языке; идеи, которые содержались в этих публикациях, нескончаемо повторяются в “Былом и думах”.

Герцен во всех этих работах использовал один и тот же тип аргументации, противопоставляя “девственную” Россию “прожженной” Европе. Со времени его прибытия в Европу каждое негативное суждение о западной жизни подразумевало позитивное суждение о жизни русской; уже в 1847 и 1848 гг. каждая атака на западный “феодализм” была в то же время косвенным панегириком российской “девственности”. Ведь Герцен, критикуя Запад за всё, хотел не столько поведать что-нибудь новое о Европе, сколько поговорить о *своей* России. Находясь в гуще чуждой ему революции, он мог сохранять “упования на будущее”, на идеал радикальной родины, которым он жил со времен клятвы на Воробьевых горах, только ценой отказа от надежд на современную ему Россию. Единственное, что изменилось с 1849 г. – превращение Герценом “историсофского” символа своей веры из иносказательного в открытый. Наконец, он начал ясно говорить о том, что подразумевал еще с первого дня прибытия в Европу. И в качестве некоего знака преемственности (сохранявшейся между его работами) “Письмо к Гервегу” и “Du developpement des idees revolutionnaires en Russie” имели эпитафией строки Гёте об Америке, столь поразившие его в 1844 г. и ранее уже цитировавшиеся в “Письмах из Avenue Marigny”, – строки, которые свидетельствовали о старом добром идеализме, одной из характерных черт Герцена и как писателя, и как мыслителя:

Dich stört nicht im Innern,  
Zu lebendiger Zeit,  
Unnützes Errinern  
Und vergებlicher Streit<sup>17</sup>.

Герцен, рассуждая о “юной” России, имел в виду несколько вещей. Прежде всего, он совершенно серьезно собирался прове-

сти аналогию с циклами жизни живых организмов; Россия была моложе, потому что, говоря историческим языком, имела меньше опыта и успела сделать гораздо меньше, чем Европа. Но Герцен имел в виду и то, что Россия в отличие от Европы никогда не была консервативной, так как почти ни одна из групп русского общества не была заинтересована в сохранении status quo. Существующий порядок не устраивал практически все население. Образованное меньшинство чахло, так как власть лишала его свободы, наиболее ярким примером чего может служить восстание декабристов. Наиболее радикально настроенным против существующей социальной структуры было прежде всего крестьянство. Всему населению России было нечего терять, за исключением своих цепей; совсем не то было в Европе, где многочисленным наделенным властью сегментам общества как раз было, что терять, кроме своих цепей, и потому цепи не казались им столь обременительными.

Россия совсем в другом положении. Стены ее деревянные; воздвигнутые грубой силой, они поддадутся с первого удара. Часть народа, отрицая всё свое прошлое с Петром I, показала, какую она имеет силу отрицания, другая же, оставшаяся чуждой настоящему строю, покорилась, но не приняла нового режима, который кажется временным биваком. (Люди повинуются, потому что они боятся, но они не верят.)<sup>18</sup>.

В отличие от Европы, Россия представляла истинно революционную ситуацию, потому что никто, за исключением самодержца и малозначительного меньшинства, желавшего сохранения самодержавной монархии, не был заинтересован в существующем положении. Другим отличием от Европы было то, что ни один из институтов или традиционных духовных ценностей, созданных прошлым России, не был дорог никому, кроме того же меньшинства. “Мы свободны от прошедшего, потому что наше прошедшее пусто, бедно, узко. Невозможно любить такие вещи, как московский царизм или петербургский империализм”<sup>19</sup>. Вестернизированное меньшинство и крестьянское большинство одинаково исключены и из прошлого, и из настоящего. Их держали в подчинении грубой силой, государственной властью, воздействующей на них только извне, а не характерным для Европы нравственным подчинением прошлому. “Мы независимы, потому что ничего не имеем. Нам почти нечего любить. Все наши воспоминания исполнены горечи и злобы”<sup>20</sup>. Русские были рождены революционерами и анархистами, вот эта самая мысль и заключала суть идеи “молодости” России.

В основе этого гносеологического анализа нестабильности основ самодержавия в XIX столетии лежала более сомнительная

теория русской истории, образчики которой мы имели возможность видеть выше. Цель этой теории была двоякой: объяснить идею молодости России в свете долгого исторического существования российского государства и доказать революционную сущность и демократичность русского народа многовековой покорностью самодержавной монархии. Решение обеих проблем было найдено в утверждении – в славянофильской манере, – что русское государство имеет совсем иную природу, нежели русский народ, тем самым Герцен пытался отречься от власти как от “нерусского” элемента жизни. Как раз на этом удобном различии “истинной”, народной и “ложной”, государственной России и основал свои суждения Герцен, тем самым уничтожив одним ударом недемократические аспекты национальной истории. Успокоенный собственным подвигом метафизического смещения акцентов, Герцен теперь мог выдавать желаемое им за действительное и написать в полной уверенности: “Истинная история России начинается с 1812 г., – до того было лишь предисловие к ней. Существенные силы русского народа никогда не поглощались его развитием, как силы романо-германских народов”<sup>21</sup>. Вот этим изъятием нежелаемых аспектов прошлого, как иллюзорных и недействительных, Герцен и подготовил себе возможность видеть лишь то, что хотел видеть сам.

Точка зрения Герцена заключается в следующем. Изначально, до появления государства, славяне, живя в крестьянской общине, находились в условиях первобытной демократии и крестьянского социализма, в условиях, которые из всех форм социальной организации были самыми естественными для них.

В мире, может быть, нет положения более сообразного со славянским характером, как положение Украины, или Малороссии, со времен киевского периода до Петра I.

Это была казачья и земледельческая республика, управляемая военной дисциплиной, но на основаниях демократического коммунизма, без средоточия, без правления, повинуюсь лишь древним обычаям, не подчиняясь ни царю московскому, ни королю польскому. Аристократии не было, всякий совершеннолетний человек был деятельным гражданином; все должности, начиная от десятника до гетмана, были избирательные (...). В Украине и Черногории и даже у сербов, иллирийцев и далматов, – повсюду гений славянский заявлял себя, свои стремления, но не развил крепкой политической формы<sup>22</sup>.

Государство, с тех пор как оно появилось, было чужеродным элементом, навязанным лишь резкой необходимостью. Давление других народов, сначала – монголов, позднее – поляков, литовцев и шведов, породило необходимость создания сильного централизованного государства. В противном случае, русские повторили

бы судьбу балканских славян, находившихся под игом турок, или чехов, находившихся под игом австрийских славян, – они бы потеряли независимость и утратили национальный характер. Позже миссия состояла в привнесении в Россию просвещения и государственных форм жизни и проходила под западным влиянием<sup>23</sup>. С момента создания государства Россия вступила на столбовую дорогу человеческого развития. Всё же, несмотря на оказанные стране услуги, самодержавие всегда оставалось чужеродной силой в России, непохожей на социальный “римский” тип обожествляемого государства Запада, созданного самим народом. “Истинная” жизнь России осталась только в крестьянской общине, несущей непосильную ношу инородного Византийского самодержавия и немецкой бюрократии, но остающейся, несмотря на это, всё такой же сильной и выносливой<sup>24</sup>.

Славянские народы, собственно, не любят ни государства, ни централизации. Они любят жить в разбросанных общинах, удаляясь как можно больше от всякого вмешательства со стороны правительства. Они ненавидят военный строй, они ненавидят полицию. Федерация была бы самая народная форма для славянских народов. Петербургский период – тяжкий искус, трудное воспитание в государственную жизнь. Он насильно сделал большую пользу России, соединив части ее и спаяв их в одно целое, но он должен миновать<sup>25</sup>.

Но это государство так и не воспользовалось жизненными силами народа – теми, которые скрывались в демократической общине с незапамятных времен. Это служило другой причиной утверждать, что “действительная” история русского народа еще не началась. И снова мифологическая терминология Герцена выражала интуитивное значение истины: человеческие ресурсы России на самом деле использовались гораздо хуже, чем в остальной Европе; крепостное право было не в состоянии эффективно развивать человеческие возможности.

Наступление истинной российской истории предвещалось некими знаками, показывавшими, что век русского государства заканчивался. Со времени Екатерины государство более не служило общественным целям, таким как национальное самосохранение (поскольку “вооруженный народ” мог, если потребуется, защищать себя сам, как, например, крестьянские партизаны в 1812 г.) или просвещение. “Государство отчуждало себя от народа, именуя этот процесс цивилизацией (начиная с Петра. – *М.М.*), вскоре (в последние годы Екатерины. – *М.М.*) отрелось от просвещения, именуя это самодержавием”. Со времени правления Николая I государство окончательно потеряло свое историческое значение, оно стало паразитом, мертвым грузом на шее русского народа:

Оно (самодержавие. — М.М.) отреклось от цивилизации, как скоро сквозь ее стремления стал проглядывать трехцветный признак либерализма; оно попыталось вернуться к национальности, к народу. Это было невозможно. Народ и правительство не имели ничего общего между собой: первый отвык от последнего, а правительству чудился в глубине масс новый призрак, еще более страшный призрак — *красного* петуха. Конечно, либерализм был менее опасен, чем новая пугачевщина, но страх и отвращение от либеральных идей стали так сильны, что правительство не могло более примириться с цивилизацией<sup>26</sup>.

Начиная с этого времени сохранение государственной власти стало самоцелью государства. Но “самодержавие ради самодержавия (отрицание совести) напоследок становится невозможным; это слишком нелепо, слишком бесплодно”<sup>27</sup>. Репрессия дома и реакционная интервенция за границей сохраняют возможную будущность для такой власти только до тех пор, пока новый Пугачев не поднимет восстание и, наконец, не уничтожит ее полностью. “Такой власти ничего не остается делать, как вести войну внешнюю”, чтобы стать жандармом международной реакции<sup>28</sup>. Это было основной чертой николаевского правления; в самой этой жестокости реакции Герцен диалектически усматривал конец “старого мира” для России. “И Зимний дворец, как вершина горы под конец осени, покрывается всё более и более снегом и льдом. Жизненные соки искусственно поднятые до этих правительственных вершин, мало-помалу застывают; остается одна материальная сила и твердость скалы, еще выдерживающей напор революционных волн”<sup>29</sup>. Хотя риторика Герцена привела его к переоценке масштаба революционных волнений, его главная мысль была верна: политика правительства, основанная на совершенно негативном репрессивном принципе, в конце концов усиливала радикализм оппозиции, как показывает нам его собственный случай.

Крестьянские массы негодовали, и рано или поздно самодержавие столкнулось бы с либеральной альтернативой, либо с мятежом. Но Николай колебался, наперед зная, что освобождение знаменовало начало конца “старого мира”. “Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли; что освобождение земли в свою очередь — начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма”<sup>30</sup>. Хотя ситуация была описана в сгущенных красках, основная идея была верна: если не обращать внимания на предсказание библейского Апокалипсиса “нового мира”, окажется, что реальная и непосредственная проблема, стоящая перед Россией, — кризис, который возник бы даже в случае юридического освобождения, которое было теперь только вопросом времени. Этот кризис неизбежно произошел бы



из-за противоречия между крестьянами (которые фактически владели половиной земли) и юридическими собственниками этой земли (дворянами). С одной стороны, было понятно, что если крестьяне не получают землю при их освобождении, то их разочарование может вызвать революционный взрыв; с другой стороны, было очевидно, если они будут освобождены с землей, которой пользовались долгое время, даже с компенсацией дворянскому сословию, то это означало бы принудительное отчуждение частной собственности, произведенное в революционных масштабах, – ситуация, невообразимая где-либо еще в Европе. Мирная подготовка к “социализму” в виде реализации последнего из двух названных вариантов составила основное содержание политики Герцена в течение первых шести лет нового царствования. Впервые вдохновляющие его воззрения этические и субъективные мотивы полностью совпадали с объективными условиями в русском обществе, что сделало народничество правдоподобной и убедительной доктриной. Однако (как же поздно и после скольких абстрактных блужданий!) Герцен, наконец, нашел хорошее обоснование своему “коммунизму” в действительно насущном, конкретном вопросе освобождения крестьян с землей взамен освобождения без земли!

“Аграрным коммунизмом” Герцен обозначал не просто примитивную демократию славянских народов до появления государства, этакую “казацкую республику” допетровской Украины. Реальные общинные “коммунизм” и “демократия” призваны служить только началом процесса, кульминацией которого была бы рационалистическая и либертарная утопия, называемая Герценом социализмом. “Община спасла русский народ от монгольского варваризма и от имперской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти; она благополучно дожила *до развития социализма в Европе*”<sup>31</sup>. Герцен продолжал проводить различие между своим революционным национализмом и консерватизмом славянофилов.

И всё же это был национализм, ибо русская община, утверждал Герцен, была воплощением того, чем не являлась Европа и чем она тщетно пыталась стать. Община по своей природе была несовместима с римским или западным представлением о государстве. “Централизация противна славянофильскому духу, федерализация гораздо свойственнее его характеру”<sup>32</sup>. Недоверие любой власти, исходящей свыше и требующей разрушить свободный союз индивидов в общине, стало для русских людей вто-

рой натурой ввиду их долгого и горького опыта государственной власти. Русский никогда бы не стал обожествлять государство, как делал это европеец. Доказательства тому в изобилии присутствуют в российской истории; в бесчисленных крестьянских восстаниях – от Болотникова до Пугачева и вольных казацких республиках прошлого<sup>33</sup>; в непреклонной враждебности старообрядцев к государству и официальной церкви<sup>34</sup>; в укоренившемся недоверии ко всем формальностям бюрократии в немецком смысле слова. “Народ русский и теперь не любит бумажных сделок между равными; по рукам и чарка водки, – тем дело и кончено”<sup>35</sup>. Так как государственная власть и административный аппарат как таковые несовместимы со свободой, Россия представляет гораздо более благоприятные условия для революции, нежели Запад.

Тот же контраст виден в отношении русских к западным институтам поддержания общественного порядка – юстиции, судам, полиции. Европейцы создали фетиш из этих институтов; русские ничего не испытывают к ним, кроме ненависти, подчиняясь только грубой силе. Инстинктивная реакция русских на закон и правосудие – это вовсе не уважение (от взаимодействия с ними пытались уклониться), а стремление уклониться и нежелание сотрудничать. “Приговор суда не марает человека в глазах народа: ссыльные, каторжные слывят у них несчастными”<sup>36</sup>. Против официального закона и его исполнителей существует всенародный заговор. И наоборот, те юридические вопросы, которые государство оставило в их руках, люди регулировали посредством общины, мирно и справедливо, в форме свободного сотрудничества равных индивидов. Судьи, подобно всем официальным лицам из крестьянства, избирались свободно; в подчиненной властям жизни общины не было строго определенного судейского сословия, как не было и особого сословия бюрократов<sup>37</sup>. Все дела общины управлялись равноправными, избранными лицами, которые к тому же вершили суд, как это было в старые времена до образования государства. Члены общины никогда не знали насилия или любого формального принуждения. В личных или деловых отношениях между крестьянами не существовало обмана: “Между ними (крестьянами. – А.П.) господствовало почти неограниченное доверие; они не знают контрактов или письменных условий”. Более того, крестьянский менталитет был глубоко демократичным и уравнительным, что естественно следовало из условий общинной жизни. “У русского крестьянина нет нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма; эта нравственность глубоко народная”<sup>38</sup>. В этом и состояли зачатки социалистического идеала равенства, выража-

ющегося в братском сотрудничестве, — по крайней мере этот идеал здесь можно было разглядеть, если захотеть.

Та же самая идея лежала в основе отношения к собственности. Европейец создал себе идола из права на частную собственность. Русский крестьянин не знал ни ее института, ни ее идеи. Его понимание собственности было глубоко “коммунистическим”<sup>39</sup>. Исключительные права дворян на владение земельными угодьями никогда не признавались крестьянами. Земля принадлежала всей общине, каждый ее член имел одинаковое право пользоваться ею, но она никогда не была абсолютной собственностью в римском или западном понимании. Конечно, неопровержимым доказательством этому была практика периодического передела земли среди членов общины. В той мере, в какой они были предоставлены сами себе, крестьяне с одинаковым демократизмом проводили в жизнь собственные проекты, они сами заключали, как использовать землю, и обеспечивали правосудие, или выборным началом, на основе равенства всех членов *общины* решали вопросы общинного правления. Как с вопросом о собственности, так и с другими вопросами общинного правопорядка, всё в общине складывалось гармонично, добровольно; не было ни насилия, ни малейшего принуждения.

Между тем очевидно, что именно периодический передел земли позволил Герцену уверовать в общину; без этого он никогда не увидел бы общего между русскими крестьянами и западными социалистами. Однако важно, что в окончательном варианте теории Герцена коллективное право на землю играет не больше роли, чем общинное самоуправление, отправление правосудия выборными лицами, психологические характеристики крестьян, а именно — недоверие государству, бюрократии и власти в целом. Обо всем этом Герцен писал даже с большим энтузиазмом и уделял этому гораздо больше внимания, чем периодическому переделу земли. Более того, в отношении общинной собственности он был в восторге скорее от будущей гармонии, которая наступила бы вследствие передела земли, чем от самого принципа коллективного владения землей. “[Крестьянин] сохранил только свою незаметную, скромную общину, т.е. владение сообща землею, равенство всех без исключения членов общины, *братский* раздел полей по числу работников и собственное мирское управление своими делами” (курсив мой. — М.М.)<sup>40</sup>. Или то же самое:

Вопросы о размежевании полос по необходимости бывают очень сложны при беспрестанных разделах земель по числу тяг, между тем дело обходится без жалоб и процессов. Мелкие несогласия повергаются на суд старикам или миру, и их решение беспрекословно принимаются всеми. Точно

так же в *артелях* (производительный кооператив крестьянских ремесленников – курсив и определение. – М.М.)<sup>41</sup>.

Община Герцена, и об этом нужно хорошо помнить, не имела ничего общего с общим колхозом; он никогда не упоминал о совместной жизни или групповом труде, поскольку в *общине* ни того, ни другого института не существовало. Из умолчания этих вопросов можно сделать вывод, что он предусматривал в качестве первичной экономической функции будущей общины периодический передел земли между хозяйствами, что гарантировало бы их продолжительное равенство и их личную самодостаточность. Однако в промежутках между переделами каждый владелец, вероятно, представлял бы собой отдельную экономическую единицу, а община была бы по большей части союзом независимых крестьянских производителей. Таким образом, несмотря на все разговоры о “коммунизме” *общины*, русский социализм Герцена был в действительности гораздо ближе к прудоновской “обоюдовойгодной” утопии мелких собственников-индивидуалистов, при которой каждый “владеет” своим участком, чем к таким коллективистским идеалам, как фаланга Фурье, которая для Герцена была не более, чем символом и лозунгом “общинности”.

Но самым существенным в общине для Герцена было даже не это “взаимобразное” владение землей, а отсутствие принуждения и власти, навязанной извне. Хотя Герцена впервые привлекала в общине возможность сопоставить ее с параллельно представленными коллективистскими схемами западного социализма он в конце концов пришел к еще большей ее идеализации, чем даже собственного анархистского принципа добровольного сотрудничества равных, который, по его мнению, воплощался во всех аспектах жизни общины: в управлении, в правосудии и в антиавторитарном менталитете крестьян. Идеальная герценовская община, несмотря на весь ее “коммунизм”, в первую очередь предназначалась для благоприятного развития “личности”.

Это подтверждают и оговорки Герцена касательно общины; оговорки эти очень похожи на те, которые известны нам по его дискуссиям со славянофилами в начале 1840-х гг. Даже в то время он боялся, что общинная организация по природе своей может стать оковами для свободного развития личности, создав риск “поглощения ее группой”. В ее наличном виде община была далека от идеала; она стала бы истинно социалистической только тогда, когда был бы найден какой-либо способ совместить ее с той свободой личности, которая процветала на Западе. “Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и во-

лостное self-government\* по городам и всему государству, сохраняя народное единство, – вот в чем состоит вопрос о будущем России”<sup>42</sup>.

Согласно Герцену, история свидетельствует о том, что крестьянская община самостоятельно к социализму прийти не может. У всех народов в их “юности” была община, была она и в Западной Европе, но та потеряла ее в ходе эволюции, прошедшей через “феодализм” и римское понятие частной собственности и приведшей к одностороннему “антисоциальному индивидуализму”<sup>43</sup>. У азиатских народов тоже была община, но она не привела их ни к чему, так как они были не в состоянии отречься от узкой самодостаточности и выйти на столбовую дорожку истории, представленную Европой<sup>44</sup>. Россия же, в отличие от Европы, – “молода” в том смысле, что у нее всё еще существует община. Кроме того, в отличие от Азии, она имеет замечательную возможность отречься от всего того неудовлетворительного, что есть в ее прошлом, например от “антинациональной” революции Петра I и от вестернизации, воплощением которой является образованный класс. Таким образом, Россия оказалась в чрезвычайно благоприятной исторической ситуации. “Мы, к счастью, появляемся с нашей общиной в такое время, когда противоположная цивилизация упирается в абсолютную невозможность выпутаться при помощи своих принципов из противоречия между правом личности и правом общества”<sup>45</sup>.

Говоря иначе, не гегелевским языком, социализм будет результатом сплава российского демократического общинного равенства с западным принципом личного достоинства. Молодую Россию разбудит, наконец, истинный исторический опыт “Запада, который один всё еще может осветить пучину русской жизни”, Россия теперь продвигается туда, где усилия европейского создания бессильны, она ведет человечество к “будущему, которое отныне становится общим и для Запада”<sup>46</sup>. Удаляясь всё дальше от Европы и углубляясь в Московское прошлое, чего так страстно желали такие реакционеры, как славянофилы, Россия будет искать спасения, усваивая наследие Запада – достижения в науках и идею личности, – приспособлявая эти принципы к развитию крестьянской общины.

Чтобы достичь этого, России не обязательно повторять эволюцию Европы. России просто следует приспособить к собственным нуждам исторический опыт Запада. «Россия проделала свою революционную эмбриогению в “европейском классе”. (...) На-

---

\* Самоуправление (англ.) *Прим. пер.*

роду русскому не нужно начинать снова этот тяжкий путь»<sup>47</sup>. Действительно, копирование буржуазного развития Запада было бы фатальным для единственного преимущества “молодой” России – общины, и поэтому ей следовало бы сторониться этой эволюции во что бы то ни стало. В частности, буржуазное понятие частной собственности разрушило бы “коммунизм” общины и обратило бы крестьянство в незащитный сельский пролетариат, каковой существует ныне на Западе. Поскольку исторической формой существования будущности является социализм, повторение западного развития было бы для России историческим самоубийством:

Народ русский все вынес, но удержал общину; община спасает народ русский; уничтожая ее, вы отдаете его, связанного по рукам и ногам помещику и полиции. И коснуться до нее в то время, когда Европа оплакивает свое раздробление полей и всеми силами стремится к какому-нибудь общинному устройству! (курсив мой. – М.М.)<sup>48</sup>.

Для Герцена русские по природе своей были аграрной нацией, и он никогда не предусматривал для них городской, индустриальной перспективы. Заявляя, что для России вовсе нет необходимости в повторении европейского развития, Герцен имел в виду не капиталистическую промышленность, а капиталистические правовые институты – частную собственность и римское право. “Представьте себе европейское сельское устройство с петербургским сельским самовластием, с нашими чиновниками, с нашей земской полицией. Представьте себе двадцать миллионов пролетариев, ищущих работы на господских землях, в стране, где нет никакой законности, где все управление подкупное и дворянское, где личность – ничего, а влияние – всё”<sup>49</sup>. Когда Герцен провозгласил, что Россия не нуждается в повторении исторического опыта Европы, то он имел в виду, как обычно, не только что-то “историософское”, но также и нечто конкретное, в том смысле, что он требовал не только личного освобождения, но освобождения с землей. Освобождение крестьян без земли означало потерю Россией всех исторических шансов на социалистическое будущее, что еще хуже; в настоящее время это было бы антигуманным. Никогда раньше Герцен не рассматривал таких практических вопросов, как вопрос о процессе “гуманизации” России.

## Часть 2

Каким образом в воззрениях Герцена принцип личностной независимости сочетался с жизнью в общине? Такое сочетание виделось ему как результат посредничества тех членов европей-

зированной меньшинства, которые подобно декабристам и радикалам герценовского поколения сражались против существующего порядка. Подобно крестьянству, эта группа была “молодой” и “свободной” от прошлого, где у нее также не было ничего кроме рабства и постепенной деградации. В отличие от европейских интеллектуалов, русские могли себе позволить быть безжалостными революционерами, залогом чему уже служило крепостное состояние: что мог потерять крепостной, если у него не было даже “половины свободы” западного человека?

Брошенный в гнетущую среду, вооруженный ясным взглядом и неподкупной логикой, русский быстро освобождается от веры и от нравов своих отцов.

Мыслящий русский – самый независимый человек в свете. Что может его остановить? Уважение к прошлому?... Но что служит исходной точкой новой истории России, если не отрицание народности и предания?

Или, может быть, предание петербургского периода? Это предание не обязывает нас ни к чему, этот пятый акт кровавой драмы, происходящей в доме терпимости, напротив, развязывает нас окончательно.

С другой стороны, прошлое западных народов служит нам научением и только; мы нисколько не считаем себя душеприказчиками их исторических завещаний<sup>50</sup>.

Русские могли быть абсолютно правы в своей критике идей и институтов прошлого, поскольку Россия времен Николая I была столь абсурдна и негуманна, что только нецивилизованная личность могла чувствовать какую-либо привязанность к этому времени или желать сохранить какую-то часть прошлого. Западное образование русского, прошедшего школу европейского просвещения, не умеряет его революционность. Для него, постороннего в Европе, образование совсем не то же самое, что для европейца. Европейцу цивилизация дает много преимуществ, пусть несовершенных, но очень значимых, как то: партии, свободу слова, частичное образование и приличные условия жизни, по крайней мере для некоторых. Русскому контакт с европейской цивилизацией не давал преимуществ; это соприкосновение с Европой просто сыпало соль на раны, воспаляя и подстрекая к революционному мятежу там, где европеец удовлетворится реформой. Европейское образование не внушает русскому лояльности к чужому прошлому, оно пробуждает в нем одинаковое отвращение и к варварству России, и к малодушию Европы. Другими словами, оно делает из него идеального революционера, не боящегося доводить мысли до логического конца. «Мы разделяем ваши (европейские. – М.М.) сомнения, но ваша вера не согревает нас. Мы разделяем вашу ненависть, но не понимаем вашу привязанность к завещанному предками; мы слишком угнетены, слишком несча-

стны, чтобы довольствоваться полусвободой. Вас связывают скрупулы, вас удерживают *задние мысли*. У нас нет ни *задних мыслей*, ни скрупулов, у нас только не хватает силы...» (курсив мой. – М.М.)<sup>51</sup>. Трудно найти более ясное подтверждение, объяснение традиционного максимализма русских радикалов, чем это.

Существование этого революционного “мелкопоместного дворянства” в России было таким же важным источником герценовских надежд на будущее, каким была община. Правда, он постоянно утверждал, что из этих двух более важной составляющей была община, и он всегда почтительно ставил революционность крестьян на первое место. “Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы – не больше как средство, как закваска, как посредники между русским народом и революционной Европой. Человек будущего в России – *мужик*, точно так же как во Франции *работник*” (курсив мой. – М.М.)<sup>52</sup>. Но всё же революционное дворянство было столь же существенной силой, сколь и крестьянство. Без первого община не смогла бы стать социалистической. Герцен также много писал об интеллектуалах, как и о крестьянах. Большая часть “*Du developpement des idees revolutionnaires en Russie*” посвящена движению пробудившихся революционных дворян от Радищева до Петрашевского. Этому же посвящена половина “*Le peuple russe et le socialisme. Lettre a' M. Jules Michelet*”. Само крестьянство без закваски революционного дворянства не смогло бы подняться над примитивной стадией развития точно так же, как “коммунизм” *общины* без полного развития личности никогда не дал бы социализма. Европа и Россия, коллективизм и индивидуализм, крестьянство и революционное дворянство были равно необходимы для создания “нового мира”.

Таков был тот контекст революционных надежд, в котором Герцен выражал свою веру в крестьянскую общину. Эти надежды не были исключительно, или даже по большей части, основаны на коллективистском представлении о собственности, преобладающем в *общине*. Они выросли скорее из самой структуры русского общества в целом. Для Герцена социальная революция должна была или быть максимально полной, или это была бы совсем не революция. И русское общество представляло уникальный набор условий именно для такой революции. В России ни одна группа не была привязана интересами или чувствами к существующим институтам и ценностям; чужеродное государство, встающее на защиту слепому сохранению status quo, держало в подчинении с помощью одной лишь грубой силы крестьянские массы и образованное меньшинство, в котором все требовало восстания против status quo.



На нас лежит слишком много цепей, чтобы мы добровольно одели на себя новые. В этом отношении мы стоим наряду с нашими крестьянами. Мы покоряемся грубой силе. Мы рабы, потому что не имеем возможности освободиться, но мы не принимаем ничего от наших врагов.

Россия никогда не будет протестантскою.

Россия никогда не будет *juste-milieu*\*.

Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими<sup>53</sup>.

В сущности, русский социализм Герцена сводится к одному-единственному утверждению, которое не является ни экономическим, ни “коллективистским” по природе: русские никогда не смогут не отвергать власть, навязанную свыше. Его взгляды на общинные настроения вполне соответствуют этому утверждению.

Для общины характерны три существенные черты: отрицание всякой внешней по отношению к индивиду власти; отрицание “римской” идеи суверенной власти (короче говоря, государства), которая превосходит сумму составляющих ее личностей; отрицание “римского” принципа законности, как чего-то превосходящего свободно выражаемую волю всех членов общности; отрицание священного права частной собственности, выходящего за рамки тех целей, коим служит материальное богатство. Община была социалистической, потому что она отрицала любые виды власти, не основанные на свободной ассоциации автономных индивидов; Россия в целом была революционной, потому что просвещенная элита могла стать выразителем того, что крестьяне выражали стихийно, через свой образ жизни – короче говоря, потому что и эта элита, и массы по природе своей являлись анархистами.

Как обычно, Герцен сильно преувеличивал, особенно говоря о том, что среди “мелкопоместного дворянства” зреет недовольство. Конечно, он сам это очень хорошо понимал – ведь одной из его главных целей было убедить московских друзей в их неосознанных революционных возможностях посредством собственных произведений. Со временем это стремление Герцена убедить Европу превращало мир дворянства, откуда вышел сам он, в нечто всё более революционное. С одной стороны, кто в Европе был достаточно осведомлен в данных вопросах, чтобы спорить с ним? С другой, – кто в России имел возможность опубликовать свои представления о происходящем? Вот почему Герцен с легкостью мог приписать всему своему классу эту безрассудную неудовле-

---

\* Золотою серединою (фр.) *Прим. пер.*

творенность, свойственную меньшинству этого класса, таким как он сам, покойный Белинский, заключенный в тюрьму Бакунин, меланхоличный Огарев, — да и не все из них были дворянами. И всё же, несмотря на все преувеличения, сказанное им было в сущности справедливо: русское общество в отличие от европейского представляло собой бочку с порохом, и личность Герцена стала спичкой, поднесенной к фитилю этой бочки. Картина Герцена была бы совершенно определенной, если бы вместо термина “мелкопоместное дворянство” он употребил “радикальная интеллигенция”, обозначающий выходцев из всех слоев общества. И этот новый термин брал свое начало в реальной жизни, как писал сам Герцен, в личностях, которые пока еще не дали о себе знать; все эти чернышевские и добролюбовы, воспитанные на произведениях Белинского и Герцена в течение нескольких предсмертных лет Николая, они появляются на сцене общественной жизни в конце 1850–60-х годов. К 70-м годам XIX в. они были уже людьми, крепко сплоченными революционными убеждениями, искавшими любой контакт с отчаявшимся, неудовлетворенным крестьянством. Этот тип людей де Местр<sup>54</sup> в начале века окрестил предчувствием *un Pougatchev d' universite* (университетского Пугачева). Эти люди, наконец, воплотили собой тотальную революционность чисто русского характера, чего, как ему казалось, так желал Герцен. На самом деле, можно полагать, что знай он, каковы на деле исключительные качества революционной статьи, которую он со всем красноречием стремился продать и Востоку, и Западу, его бы это сильно шокировало.

### Часть 3

Так или иначе снова встает вопрос, следует ли принимать всерьез заявления Герцена по поводу социалистического “будущего России”? В целом, эти заявления нужно понимать более глубоко, нежели его прогнозы по поводу европейского будущего, но всё же не совсем буквально. Его теория допускает несколько важных оговорок. Прежде всего, социалистическое процветание общины не было чем-то предрешенным. Он категорично заявлял: “Я не говорю, что это *необходимо*, но это *возможно*. Нет ничего необходимого-нужного”<sup>55</sup>. Причиной этой оговорки был кризис 1848 г. в мировоззрении Герцена, кризис веры в гегелевскую концепцию истории. Будущее зависело от того, насколько энергично будут просвещенные элементы российского общества протестовать, к примеру, против освобождения крестьян без земли. Оно также зависело от того, что происходило в Европе.

Не следует слепо верить в будущее; каждый зародыш имеет право на развитие, но не каждый развивается. Будущее России зависит не от нее одной. Оно связано с будущим Европы. Кто может предсказать судьбу славянского мира в случае, если реакция и абсолютизм окончательно победят революцию в Европе?<sup>56</sup>

Оптимизм Герцена по отношению к общине зависел также от обстоятельств, сложившихся в момент написания произведения, посвященного данному вопросу. Например, работа "Le peuple russe et le socialisme. Lettre à M. Jules Michelet" была написана как возражение на комментарии, относящиеся к России, в статье о польском революционном герое Костюшко<sup>57</sup>. Герцен начал письмо с решительной защиты общины, веры в нее. Однако по ходу написания рецензии появилась следующая статья Мишле, где тот более обстоятельно говорил о русских страданиях. Тон герценовских обличений становится менее умеренным. "Для нас час действия еще не настал; Франция еще, по справедливости, гордится своим передовым положением. Ей до 1852 года принадлежит трудное право. Европа, без сомнения, прежде нас достигнет гроба или новой жизни. День действия, может быть, далеко для нас"<sup>58</sup>. Герцен никогда не утверждал, как это ранее делали многие, что его теория является "научной". "Социалистическое" будущее в конечном счете изображается только как желательная вероятность, он говорил о желательном будущем, но не был уверен в нем.

Не настаивал Герцен и на российском превосходстве над Западом, не подписывался под националистическим мессианством, как следовало бы делать славянофилу. Несмотря на некоторые неявные намеки, в действительности его прославление общины следовало понимать в смысле равенства России с Западом; но всё же Герцен часто преувеличивал, говоря об отношении России к Европе. Однако в менее полемическом настроении, Герцен умел писать в умеренном тоне. "Европа (...) не разрешила антиномии между личностью и государством, но она поставила себе задачей это разрешение. Россия также не нашла этого решения. Перед этим вопросом начинается *наше равенство*" (курсив мой. — М.М.)<sup>59</sup>.

Посмотрим на эту мысль в другом месте, где она выражена гораздо яснее:

Тяжко, дурно жить в России, это правда, и тем тяжелее было для нас, что мы думаем, что в других странах легко и хорошо жить.

Теперь мы знаем, что и там тяжело, оттого что и там не разрешен вопрос, около которого сосредоточилась теперь вся человеческая деятельность, — вопрос об отношении лица к обществу и общества к лицу. Крайние, односторонние развития привели к двум нелепостям: к гордому своими правами, независимому англичанину, которого свобода основана на вежливой

антропофагии, и к бедному русскому мужику, безлично потерянному в общине, бесправно отданному в крепость и, в силу того, служащему съестным припасом барину.

Где их применение, как снять их противоречие, как сохранить независимость британца без людоедства, как развить личность крестьянина без утраты общинного начала? В этом-то вся мучительная задача нашего века, в этом-то и состоит весь социализм<sup>60</sup>.

Здесь Герцен говорит “у нас *тоже* есть, что предложить”, а не “*только* мы и можем что-то предложить”; и это было последним словом, по крайней мере для европейской общественности, в его пропаганде общинного устройства.

Он хотел ответить европейскому презрению к России демонстрацией того, что его работы были настолько же социалистическими, насколько и западническими, если не более. И, следовательно, он заслуживал уважения со стороны европейских левых, как товарищ по несчастью, а не как враг всех прогрессивных сил человечества<sup>61</sup>. До некоторой степени Герцен действительно пытался мобилизовать европейских либералов (которым в полемических целях выражал свое презрение, но с которыми, особенно с англичанами, он считался) на борьбу с самодержавием и крепостничеством, на оказание давления на правительство России с целью подтолкнуть его к реформам. В Англии он был особенно поражен (не без некоторой ревности) сочувствием к рабам в Америке, и увидел в этом хорошую возможность обратить это во благо крепостным в России<sup>62</sup>. Короче говоря, он хотел сделать для России то же, что сделал Мадзини (также в Англии) для своего народа, всячески напоминать о задачах своей нации и посредством пропаганды, и посредством собственного примера эмиграции и объяснять европейской общественности разницу между русским правительством и русским народом. Это желание, конечно, послужило дополнительной причиной желания Герцена сблизиться с Мадзини и итальянцами.

Однако Герцен хотел делать это с достоинством, не взывая к жалобе. Поэтому, как мы видели в последней цитате, он декларировал равенство Англии и России, несмотря на все их различия. Оба государства были отсталыми, и оба были прогрессивными, хотя и по-разному, в сущности же, между ними было мало общего. России не приходится страдать комплексом неполноценности в отношении Запада, как Западу не следует особенно задаваться. Русские, наконец, поняли, чего им не хватает, — они желали учиться у Запада. Европейцы также могли подражать подобному смирению и узнать, что им тоже есть чему поучиться у русских, в частности тому, что община может стать спасением в том кризи-

се, в котором находились *вместе* и Запад, и Россия. Именно этим противоречием между желаниями Герцена заручиться поддержкой Европы и ни о чем ее не просить объясняется наличие гипербол шовинистического толка в его произведениях. Но за всей этой броней, как замечательно сказал Боткин<sup>63</sup>, “сердце матадора было нежным”<sup>64</sup>, герценовский идеал обновленной Европы имел много общего с идеалом “Молодой Европы” Мадзини – организацией, целью которой было универсальное братство свободных людей, – существенным доказательством этого факта служит столь рьяное участие Герцена в судьбе поляков. Только бы европейцы признали, что существует молодая Россия, и что русские – их законные братья! Но, так как Европа в целом проявляла несговорчивость, эта интернационалистская идея была озвучена гораздо меньше, нежели герценовские резкие патриотические выпады.

#### Часть 4

Гораздо интереснее европейской пропаганды Герцена были его намерения и цели по отношению к России. Герцен всегда говорил, что он – революционер, и до сих пор мы верили ему на слово. Во время европейских событий 1848 г. он явственно призывал к взрывному восстанию масс, но, как мы уже указывали, не участвовал в этом восстании непосредственно; его жажда крови выражалась большей частью в полемических упражнениях. Что же касается его теории “русского социализма”, то вопрос о революционных методах, как это ни странно, представлен в ней с очень большой неточностью. Правда, время от времени, он размахивал знаменем *пугачевщины*, но никогда не настаивал лишь на таком методе борьбы: Герцен никогда не бросал явных призывов к восстанию. Вместо этого он возлагал большие надежды на “перерождение” просвещенного меньшинства, которое призвано сделать общину социалистической, – но о том, какими средствами это самое меньшинство осуществит подобное превращение, у него были весьма туманные представления.

До 1855 г. Герцен только однажды нарушил молчание по вопросу средств революции, в короткой статье для Вольной русской типографии, которая выглядит совсем незначительно по сравнению с апокалиптическими картинами, в которых он изображал свое видение русского социализма. Статья, опубликованная в 1853 г., называлась “Юрьев день”. Ее заголовок обязан обычаю XVI столетия, существовавшему еще до законодательного оформления крепостного права, согласно которому раз в году, в

особый день крестьяне имели полное право уйти от помещика, на которого они работали, к другому собственнику. День Святого Георгия (Юрия) сохранился в сознании русского народа, как символ свободы. Статью Герцен адресовал “русскому дворянству”.

Это было обращение к классу, единственному оставшемуся свободным в стране, — классу, из которого вышли декабристы, создатели русского “гуманизма”, Пушкин, Лермонтов, радикалы герценовского поколения, — освободить крепостных добровольно, пока еще есть время, пока не поздно, пока народ не взялся за “топор” и не разрушил всю цивилизацию в России. Однако это было обращение к традициям декабристов, а не к Пугачеву, к традициям гуманистического *coup d'état* (государственного переворота), осуществляемого дворянством, а не к крестьянским жакериям. Но был ли вообще необходим *coup d'état*? Не могло ли дворянство освободить своих крепостных мирно, путем заключения соответствующего договора с правительством? Или, не мог ли сам самодержец с его неограниченной властью просто издать указ об освобождении? Герцен даже допускал последнюю возможность, хотя предпочел бы так или иначе решить эту задачу с помощью своего родного “радикального” дворянства<sup>65</sup>.

Всё это было так далеко от радикализма, в котором обычно пребывал Герцен. Его цели были достаточно радикальны: полностью демократизированная либеральная Россия, все богатства которой (здесь он имел в виду землю) являются коллективной собственностью. Но эти требования могут быть названы всего лишь умеренными: сотрудничество с представителями существующего порядка, с дворянством, возможно, даже с самодержавием; убеждение без какого-либо насилия и неизбежно (хотя он не говорил об этом прямо) постепенное изменение, а не внезапный переворот. Кажется довольно странным видеть элементы умеренности в политической философии Герцена. Тем не менее именно эта практическая программа стояла за его требованием тотальной революции. Ради сохранения в России цивилизации, просвещения, гуманизма, носителями которых являются дворяне, Герцен надеялся на введение социализма сверху. *Пугачевщина* была последним отчаянным средством, к которому он обратился бы, включил бы в свою программу, если бы образованное меньшинство потерпело неудачу в своих действиях. Таким образом, его политическая программа не отличалась в корне от воззрений Грановского, тоже желавшего мирной реформы сверху. Принципиальное отличие, и это довольно важно, заключается в том, что Грановский предусматривал выбор между *пугачевщи-*

ной и ожиданием мер от самодержавия и дворянства, а Герцен делал выбор в пользу последних.

Таким образом, теория русского социализма Герцена, если и не была действительно умеренной, то была аморфной и двусмысленной. Она оказалась не столько политической программой, сколько мечтой, призванной побуждать и убеждать образованное общество действовать так или иначе в интересах крестьянства. На самом деле смешанная риторика Герцена содержала в себе две противоречащие позиции, которые в духе позднейших популярных социалистических течений могли бы быть названы программой-“минимум” и программой-“максимум”. Последняя представляла собой развернутую теорию анархической федерации общин, – теорию, воплощавшую герценовские упования на будущее России. Программа-“минимум”, намеки на которую возникли к 1855 г. только в статье “Юрьев день”, имела более реальную цель – освобождение крестьян с землей (либо с небольшой компенсацией ее хозяевам, либо вообще без таковой); реализация этой программы наступления социализма требовала времени.

Существенная двусмысленность позиции Герцена стала более явной при правлении Александра II, в то время, когда впервые с начала XIX в. в России стала возможной практическая политика, и оппозиция получила возможность достичь хоть каких-нибудь целей в политическом мире. При таких обстоятельствах Герцен меньше стал думать о конечных результатах и больше – о конкретных способах и средствах для их достижения. На несколько лет он временно отказался от программы-“максимум” – программы социальной революции, и сосредоточился на программе-“минимум” – проекте достойного освобождения. В течение некоторого времени он даже думал (как было уже раньше, в короткий период его пребывания в Вятке)<sup>66</sup>, что самодержавие способно вернуться к бывшей роли носителя просвещения в России, и в известной статье “Ты победил, Галилеянин!” высказал новому императору свои надежды на конструктивное сотрудничество<sup>67</sup>. Конечно, вскоре он преодолел свои заблуждения, Александр II не имел даже отдаленного намерения предоставить “социалистическую” эмансипацию, которой грезил Герцен<sup>68</sup>. Когда стала ясна нереальность этого пути, Герцен воспользовался платформой конституционной оппозиции и стал агитировать за Земский собор, который, предположительно, дал бы радикальному “мелкопоместному дворянству” шанс создать новую Россию. Только когда и эта тактика провалилась, и состоявшееся освобождение, как выяснилось, показалось Герцену совершенно недо-

влетворительным в 1861–1862 гг., он вернулся к своим старым требованиям тотальной революции, и его Вольная типография стала призывать радикальную молодежь “идти в народ”, неся ему величайшее слово эпохи – социализм. Тем не менее в течение семи лет Герцен заигрывал с идеей постепенного развития; в основе его экстремизма присутствовала готовность отказаться от теоретического максимализма, коль скоро представится подходящий случай достижения социальных изменений через сотрудничество с истеблишментом.

В своем желании Герцен был не одинок. Все радикалы его поколения в то или иное время высказывали подобные мысли. Белинский в последние дни жизни усвоил утопическую идею, согласно которой Николай I должен превратиться в радикального Петра Великого, силой освобождающего крестьянство, внедряющего просвещение и прогресс, наносящего удар реакционным крепостникам<sup>69</sup>. (Белинский, в отличие от Герцена, не был дворянином и потому никогда не разделял высокого мнения своих друзей об этом классе.) Бакунин в 1851 г., находясь в тюрьме, написал свою знаменитую “Исповедь” Николаю, отчасти оправдываясь в своей деятельности в течение нескольких лет пребывания в Европе, отчасти желая просветить императора в надежде, что тот встанет на сторону прогресса, – всё это очень напоминает известную беседу Карлоса с Филиппом II, принадлежащую шиллеровскому перу<sup>70</sup>. Находясь в Сибири, ссыльный Бакунин, казалось, также мечтал о просвещенном деспотизме вместе с его двоюродным братом генерал-губернатором дальневосточной провинции Муравьевым-Амурским<sup>71</sup>. Эта же идея была высказана им позже в работе “Романов, Пугачев или Пестель?” как одна из трех возможностей будущего развития, она служила альтернативой дворянскому восстанию и крестьянскому мятежу<sup>72</sup>.

Этот спектр возможностей выбора методов обновления России был одной из принципиальных характеристик, отличающих радикалов герценовского поколения от их последователей, людей 1860–1870-х годов. Ни Чернышевский со своими последователями-студентами, ни члены “Земли и воли” не желали иметь ничего общего с самодержавием, дворянством или status quo, в какой бы форме они ни представляли. Они верили только в односторонние действия образованного меньшинства, которое решительно отказывались равнять с дворянством, позднее символом веры для них стали крестьянская революция и терроризм. Герцен представлял лишь первую ступень радикального отчаяния в России. Как у многих представителей его поколения, зарождающаяся надежда на



мирное сотрудничество с существующим порядком была отражена им в самом радикальном виде. Поэтому советские ученые совершенно правильно говорят о его “либеральных колебаниях” и считают, что он не был бриллиантом “революционной демократии” чистой воды, какими были *разночинцы* или народники, которые стали доминировать на сцене общественного движения после 1855 г.

Но эти “колебания” – вполне естественны для Герцена, ибо он и его товарищи были не более чем представителями первого поколения социалистической мысли в России. Роль первопроходцев неизбежно заставляла их отдавать основные силы разработке главных принципов идейного течения, а не совершенствованию стратегии. В то же время у них не было опыта борьбы с режимом, который появился у следующих поколений, породив в них ту пронзительную чувствительность к революционным методам борьбы, которая исключала любую форму сотрудничества с существующей властью, как с предательской или не желающей улучшений. Народничество Герцена относится приблизительно к той самой фазе развития социалистической мысли, которая на Западе была представлена Сен-Симоном и Фурье, – фазе эсхатологического пророчества, а не создания политической программы действий, ибо в условиях, в которых находилась Россия до 1855 г., соответствовавших таковым Европы до 1830 г., едва ли могли развиваться более определенные идеи.

Неопределенность же социализма Герцена главным образом объясняется тем, что он жил еще до появления народничества, а также тем, что он был демократом по собственной воле, из благородного великодушия, а не по необходимости, т.е. человеком, не видевшим иных средств для реализации своих жизненных интересов кроме мятежа. Революция для него была *point d'honneur* (делом чести), а не судьбой. И, как не уставали подчеркивать более поздние радикалы, такая свобода выбора воспитывает в духе отсутствия демократической логики и даже – в духе дилетантизма, основные черты которого, несомненно, видны в пропагандируемом Герценом народничестве “мелкопоместных дворян”, в падкости на риторику, превосходящую его реальные намерения. Но это ставит вопрос об общей природе его позиции, и, таким образом, формулирует проблему, с которой начинается эта книга и которой суждено стать ее завершением – проблему уяснения характера Герцена как “дворянского революционера”.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Эта глава в наиболее сжатом и концентрированном виде отражает характерную для большинства американских исследователей истории российской политической мысли точку зрения на генезис и природу русского социализма, идейные основы которого заложил и развивал в своем творчестве А.И. Герцен.
- <sup>2</sup> См.: *Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. 1812–1855.* New York, 1965. Ch. 12, № 17.
- <sup>3</sup> Гакстгаузен Август Франц Людвиг (1792–1866), барон, прусский юнкер, чиновник, литератор, экономист, автор ряда работ по экономическим вопросам. В 1843–1844 гг. совершил путешествие по России. Его труды о крестьянской общине и особенностях аграрного строя страны (1847–1852, русский перевод 1869) оказали влияние на русскую общественную мысль XIX в. (*Прим. пер.*).
- <sup>4</sup> Первые упоминания Герцена о том, что он прочитал книгу Гакстгаузена, появились в 1849 г., в эссе, где он первым указал свою точку зрения на “социалистическое” значение общины (См.: *Герцен А.И. La Russie: a’ G.H.* // Полн. собр. соч.: В 22 т. / Под ред. М.К. Лемке. Петроград, 1919–1925. Т. 5. С. 306, 308 – 318.
- <sup>5</sup> Левелель (Lelewel) Иохам (1786–1861), польский историк и общественный деятель, участник восстания 1830–1831 гг., один из лидеров польской демократической эмиграции (*Прим. пер.*).
- <sup>6</sup> *Николаевский Б.* За нашу и вашу вольность – страницы из истории русско-польских отношений // *Новый журнал.* 1944. № 7. С. 252–276. Николаевский развивает тезис, что это были поляки, в частности Левелель, который первым высказал идею о “социалистической” крестьянской общине, которую Бакунин перенял у него, встретившись с ним в Брюсселе в 1843–1844 гг., и затем пересказал Герцену в Париже в 1847 г. Гипотеза интересная, но не существует серьезных доказательств в ее поддержку; пока остается очевидным тот факт, что Герцен воспринял эту идею из дискуссий со славянофилами и из книги Гакстгаузена. Более важным, чем эти основные “влияния”, остается то, что эта идея логически восходила к русскому обществу и самое главное – была на слуху.
- <sup>7</sup> См.: *Malia M. Alexander Herzen and the birth of Russian socialism. 1812–1855.* New York, 1965. Ch. 14, № 8.
- <sup>8</sup> *Герцен А.И.* Письмо московским друзьям. 5 ноября 1848 г. // Полн. собр. соч.: В 22 т. Под ред. М.К. Лемке. Петроград, 1919–1925. Т. 5. С. 243–244.
- <sup>9</sup> *Герцен А.И. La Russie: a’ G.H.* // Там же. С. 299–329. Прим. к тому же изданию: с. 528.
- <sup>10</sup> *Герцен А.И. Lettre d’un Russe a’ Mazzini* // Там же. С. 366–371. Прим. к той же работе на с. 529.
- <sup>11</sup> *Герцен А.И. Du development des idees revolutionnaires en Russie* // Там же. С. 197–297. Прим. к той же работе на с. 670.
- <sup>12</sup> Жюль Мишле (1798–1874), французский историк и публицист, автор очерка “Россия и Польша. Легенда о Костюшко”, который вызвал возражения А.И. Герцена (*Прим. пер.*).
- <sup>13</sup> *Герцен А.И. Le peuple russe et le socialisme, Lettre a’ M. Jules Michelet* // Полн. собр. соч.: В 22 т. Под ред. М.К. Лемке. Петроград, 1919–1925. Т. 6. С. 433–461. Прим. в том же издании на с. 685–686. Лемке дает только русскую

- версию работы; оригинальный французский текст см.: Герцен А.И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1956–1965. Т. 7. С. 271–306.
- <sup>14</sup> Герцен А.И. Крещенная собственность // Полн. собр. соч.: В 22 т. Под ред. М.К. Лемке. Петроград, 1919–1925. Т. 7. С. 263–288; Герцен А.И. Русское крепостничество // Там же. Т. 7. С. 339–360.
- <sup>15</sup> Линтон Ульям Джеймс (1812–1897), английский гравер, поэт и публицист, издатель, чартист. В 1850 г. в Париже состоялось знакомство с Герценом (Прим. пер.).
- <sup>16</sup> Герцен А.И. The Old World and Russia. Letters to the Editor of “The English Republic”, W. Linton // Полн. собр. соч.: В 22 т. / Под ред. М.К. Лемке. Петроград, 1919–1925. Т. 8. С. 25–27. Эта статья является переводом с французского оригинала Герцена, которая появилась отдельными частями в том же году в газете высланных Наполеоном III французских эмигрантов “L’Homme”, сгруппировавшихся вокруг Виктора Гюго на острове Джерси. Работы, которые будут упоминаться нами дальше, посвящены одной теме, между ними нет ни одного разночтения. Следовательно, не имеет смысла в каждой сноске указывать название работы; мы будем отсылать читателя к номеру тома и страницы в издании: Герцен А.И. Полн. собр. соч.: В 22 т. Под ред. М.К. Лемке. Петроград, 1919–1925.. За наиболее подробным освещением вопросов, трактуемых здесь, обращайтесь: Malia M.E. Herzen and the Peasant Commune // Continuity and Change in Russian and Soviet Thought / Ed. E.J. Simmons. Cambridge. 1955.
- <sup>17</sup> “Тебе, в живое время не тревожат душу ни бесполезные воспоминания, ни напрасные споры” (нем. – прим. пер.). Герцен А.И. Полн. собр. соч.: В 22 т. / Под ред. М.К. Лемке. Петроград, 1919–1925. Т. 5. С. 300; Герцен А.И. Полн. собр. соч.: В 22 т. / Под ред. М.К. Лемке. Петроград, 1919–1925. Т. 6. С. 332; а также см.: Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. 1812–1855. New York, 1965. Ch. 14, № 63.
- <sup>18</sup> Герцен А.И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 279.
- <sup>19</sup> Там же. 280.
- <sup>20</sup> Там же. С. 456; Ibid. Т. 8. С. 25.
- <sup>21</sup> Там же. С. 209.
- <sup>22</sup> Там же. Т. 8. С. 32.
- <sup>23</sup> Там же. С. 32–33.
- <sup>24</sup> Там же. Т. 6. С. 297.
- <sup>25</sup> Там же. С. 45.
- <sup>26</sup> Там же. С. 48.
- <sup>27</sup> Там же. С. 48.
- <sup>28</sup> Там же. Т. 8. С. 34.
- <sup>29</sup> Там же. Т. 6. С. 448–449.
- <sup>30</sup> Там же. С. 449.
- <sup>31</sup> Там же. С. 447.
- <sup>32</sup> Там же. С. 440.
- <sup>33</sup> Там же. С. 278.
- <sup>34</sup> Там же. С. 446.
- <sup>35</sup> Там же. Т. 7. С. 269.
- <sup>36</sup> Там же. Т. 6. С. 445.
- <sup>37</sup> Там же. Т. 8. С. 51.
- <sup>38</sup> Там же. Т. 6. С. 445–446.
- <sup>39</sup> См.: Герцен А.И. La Russie: a’ G.H. // Полн. собр. соч.: Т. 5. С. 308–318; и “Прибавление” к: Du developpement des idees revolutionnaires en Russie // Там же. Т. 6.

С. 293–297. Эти отрывки – наиболее полное и самое компактное изложение идей Герцена об общине.

40 Герцен А.И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 279.

41 Там же. Т. 6. С. 446.

42 Там же. Т. 8. С. 49.

43 Там же. Т. 6. С. 296.

44 Там же. Т. 8. С. 47.

45 Там же. Т. 6. С. 296.

46 Там же. С. 282.

47 Там же. Т. 8. С. 46.

48 Там же. Т. 7. С. 277.

49 Там же. С. 267, 276–280.

50 Там же. Т. 6. С. 455–456.

51 Там же. С. 456.

52 Там же. С. 450.

53 Там же. С. 457.

54 де Местр (Мэстр) Жозеф Мари (1753–1821), французский политический деятель, публицист крайне консервативных взглядов, философ, моралист, дипломат, сардинский посланник в России (1803–1817) (*Прим. пер.*).

55 Герцен А.И. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 38.

56 Там же. Т. 6. С. 457.

57 Костюшко Тадеуш (Фаддей) Анджей Бонавентура (1746–1817), руководитель польского национально-освободительного движения в 1794 г., был ранен и взят в плен, освобожден в 1796 г.; участник войны за независимость в Северной Америке в 1775–1783 гг. (*Прим. пер.*).

58 Герцен А.И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 458.

59 Там же. Т. 6. С. 450.

60 Там же. Т. 7. С. 279–280.

61 См.: Гершензон М.О. Герцен и Запад // *Образы прошлого*. М., 2000. С. 126–205 (*Прим. пер.*).

62 Особенно см.: Герцен А.И. Русское крепостничество // Полн. собр. соч. Т. 7. С. 339–360.

63 Боткин Василий Петрович (1812–1869), критик, публицист, один из представителей “западничества”, автор знаменитых “Писем об Испании” (*Прим. пер.*).

64 См.: Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. 1812–1855. New York, 1965. Ch. 14. P. 7.

65 Герцен А.И. Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству // Полн. собр. соч.: В 22 т. / Под ред. М.К. Лемке. Петроград, 1919–1925. Т. 7. С. 248–254.

66 См.: Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. 1812–1855. New York, 1965. Ch. 2. P. 3.

67 Герцен А.И. Ты победил, Галилеянин! // Полн. собр. соч. Т. 9.

68 Обо всех обращениях Герцена к Александру II подробнее см.: Пирумова Н. Два Александра // *Родина*. 1993. №11 (*Прим. пер.*).

69 Белинский В.Г. Письмо К.Д. Кавелину. 22 ноября 1847 г. // Белинский В.Г. Письма: В 3 т. СПб., 1914. Т. 3. С. 297–303; Белинский В.Г. Письмо П.В. Анненкову. Начало декабря 1847 г. // Там же. Т. 3. С. 313–327.

70 Бакунин М.А. Исповедь // Собр. сочинений и писем: В 4 т. 1828–1876. М., 1934–1935. Т. 4. С. 99–207.

71 См.: Carr E.H. Michail Bakunin. Unit XVIII. London, 1937.

72 Бакунин М.А. Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель? London, 1862.